

Джованни Казанова

История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 1



Джованни Джакомо Казанова
История Жака Казановы
де Сейнгальт. Том 1
Серия «История Жака
Казановы», книга 1

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6571513

Аннотация

«Я начинаю, заявляя моему читателю, что во всем, что сделал я в жизни доброго или дурного, я сознаю достойный или недостойный характер поступка, и потому я должен полагать себя свободным. Учение стоиков и любой другой секты о неодолимости Судьбы есть химера воображения, которая ведет к атеизму. Я не только монотеист, но христианин, укрепленный философией, которая никогда еще ничего не портила. Я верю в существование Бога – нематериального творца и создателя всего сущего; и то, что вселяет в меня уверенность и в чем я никогда не сомневался, это что я всегда могу положиться на Его провидение, прибегая к нему с помощью молитвы во всех моих бедах и получая всегда исцеление. Отчаяние убивает, молитва заставляет отчаяние исчезнуть; и затем человек вверяет себя провидению и действует...»

Содержание

Казанова. История моей жизни до года 1797	6
Предисловие	7
Глава I	25
Глава II	39
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Джованни Казанова
История Жака Казановы
де Сейнгальт, венецианца,
написанная им самим в
замке Дукс, Богемия, том 1



Джованни Джакомо Казанова – один из плеяды знаменитых писателей, гуманистов, авантюристов и мистиков, которыми так богат XVIII век – Пу-Сунлин и Ломоносов, Фридрих Великий и Наполеон, Вольтер и Руссо, и, наконец, граф Калиостро и Казанова...

Казанова оставил по себе память как ученый, философ, писатель и, прежде всего, как великий любовник, чье имя стало нарицательным. Свою необыкновенную жизнь он описал на склоне дней в 12-томных мемуарах, которые переведены практически на все языки. На русский язык Мемуары переводились неоднократно, но никогда – полностью: самое полное издание содержит лишь выжимки, в объеме чуть больше трети от полного. Мы решили восполнить этот пробел, издав полный текст Мемуаров в переводе на русский язык. Желаем вам приятного чтения, переводчик и редакция.

Казанова. История моей жизни до года 1797

*Напрасна мудрость того, кто не мудр к себе
Цицерон., К Требонию*

Предисловие

Я начинаю, заявляя моему читателю, что во всем, что сделал я в жизни доброго или дурного, я сознаю достойный или недостойный характер поступка, и потому я должен полагать себя свободным. Учение стоиков и любой другой секты о неодолимости Судьбы есть химера воображения, которая ведет к атеизму. Я не только монотеист, но христианин, укрепленный философией, которая никогда еще ничего не портила.

Я верю в существование Бога – нематериального творца и создателя всего сущего; и то, что вселяет в меня уверенность и в чем я никогда не сомневался, это что я всегда могу положиться на Его провидение, прибегая к нему с помощью молитвы во всех моих бедах и получая всегда исцеление. Отчаяние убивает, молитва заставляет отчаяние исчезнуть; и затем человек вверяет себя провидению и действует.

Каковы те средства, к которым прибегает существо, взывающее о помощи, чтобы отворотить надвигающиеся беды, – это вопрос вне возможностей ума человека; когда же он видит непознаваемость божественного провидения, он должен преклониться перед ним. Наше невежество становится нашим единственным ресурсом, и действительно счастливы те, кто ценит его. Поэтому следует молиться Богу и верить в обретение благодати, даже если видимость говорит нам, что мы

её не получили. Что же касается положения тела, в котором он должен находиться, когда обращает к создателю свои обеты, на это указывает стих Петрарки:

Con le ginocchia délia mente inchine.¹

Человек свободен, но он не остается таковым, если не считает себя сущностью, и чем больше он полагается на силу Судьбы, тем более он лишает в себе то, что дал ему Бог, когда наделил его разумом.

Разум это частица божественной сущности Создателя. Если мы прибегаем к нему, чтобы быть смиренными и праведными, мы можем только радовать Того, кто нам его подарил. Бог перестает быть Богом только для тех, кто допускает возможность его отсутствия. Они не могут претерпеть более сурового наказания.

Хотя человек свободен, не следует полагать, что он может делать все, что хочет. Он становится рабом, когда позволяет себе направляться туда, куда ведет его страсть. *Nisi pareat imperat.*² Тот, кто в силах сдерживать свои порывы, пока не обретет спокойствия, тот мудр. Но такое бытие – редкость.

Читатель, любящий размышлять, увидит в этих мемуарах, что никогда не останавливался я на одной и той же точке зре-

¹ Он должен склонять душу и колени. *Петрарка Canzonure, К смерти Мадонны Лауры*

² Если он не подчиняется, его принуждают. *Гораций*

ния; единственная система, которой я придерживался, если таковая существует, состояла в том, чтобы идти туда, куда ветер дует. Сколько превратностей таится в этой независимости от метода! Мои несчастья, как и мои удачи, показали мне, что в этом мире, как физическом, так и моральном, добро проистекает из зла, как и зло – из добра. Мои заблуждения подскажут мыслящим людям другие пути или научат их великому искусству удержаться в седле при ухабах. Речь идет только о мужестве, поскольку сила без доверия не стоит ничего. Я очень часто видел, как счастье выпадало мне в результате неосторожного шага, который должен был бы привести меня к пропасти, и, хотя следовало бы порицать себя, я благодарил Бога. Я также видел, напротив, как великое несчастье проистекало из поведения, продиктованного мудростью; это меня удручало, но, будучи уверен, что прав, я легко утешался.

Несмотря на основы превосходной морали, необходимый плод божественных принципов, укоренившихся в моем сердце, всю жизнь я был жертвой своих чувств, мне нравилось заблуждаться, и я постоянно совершал ошибки, не имея другого утешения, кроме сознания, что это я сам виноват. По этой причине я надеюсь, дорогой читатель, что, отнюдь не находя в моей истории черт дерзкого хвастовства, вы заметите в ней то, что соответствует представлениям об исповеди, хотя в стиле моего повествования вы не найдете ни атмосферы раскаяния, ни стеснения человека, краснеющего

от рассказа о своих шалостях. Это безумства молодости. Вы увидите, что я над ними смеюсь, и если вы добры, вы будете смеяться вместе со мной. Вы будете смеяться, когда узнаете, что я не особо стеснялся, вводя в заблуждение простофиль, жуликов, дураков, когда в этом была нужда. Что же касается женщин, это были обманы взаимные, которые не считаются, потому что, если в деле участвует любовь, то, как правило, обмануты бывают обе стороны.

Другое дело, когда это касается дураков. Я всегда радуюсь, вспоминая, как они падали в мои сети, потому что были высокомерны и самонадеянно противостояли уму. Это мечь, когда обманывается глупец, и победа тем полнее, поскольку он чувствует себя защищенным и не знает, откуда ждать опасности. Обмануть дурака, наконец, это подвиг, достойный умного человека. То, что было в моей крови с тех пор как я существую – неутолимая ненависть к этой породе – связано с тем, что я чувствую себя глупцом каждый раз, когда вижу себя в их обществе. Следует, однако, отличать их от людей животного склада, поскольку этот недостаток связан с отсутствием образования, к ним я довольно благожелателен. Я нахожу в них много честности, и в характере их дурачества есть своего рода ум. Они напоминают глаза, которые без катаракты были бы очень красивы.

Вдумываясь в характер этого предисловия, Вы, мой дорогой читатель, осуществите мою цель. Я написал его, потому

что хочу, чтобы вы узнали меня до того, как начать читать. Это как если в кафе, за табльдотом, беседуешь с незнакомцами. Я написал свою историю, и никто не может к ней придраться, но поступаю ли я мудро, предлагая её публике и соznавая её большой недостаток? Нет. Я знаю, что совершаю ошибку, но вынужден её делать и смеюсь над собой – почему я не воздержусь от этого?

Древние учат: Если ты не сделал ничего, достойного описания, по крайней мере напиши о тех, кто этого достоин. Этот рецепт прекрасен, как английский бриллиант чистейшей воды, но он мне не подходит, поскольку я не пишу историю знаменитости или роман. Достойна или недостойна, но моя жизнь – моя тема, моя тема – это моя жизнь. Живя своей жизнью и даже не предполагая никогда, что посетит меня желание писать, мне теперь могло бы показаться, что моя работа представляет интерес, чего, возможно, на самом деле и не было бы, если бы я поступал в согласии с намерением описывать, и, самое главное, публиковать написанное.

В этом 1797 году, в возрасте семидесяти двух лет, когда я могу сказать *Dixi*, хотя еще дышу, я не могу найти большего удовольствия, чем разбираться со своими собственными делами, и давать превосходный повод для смеха в хорошей компании, которой я всегда окружен, которая меня слушает и которая всегда являет ко мне признаки дружбы. Чтобы хорошо писать, мне достаточно только представить себе, как она будет это читать: *Quaecumque dixi, si placuerint, dictavil*

auditor³. Что касается профанов, которым я не могу помешать меня читать, достаточно знать, что я написал это не для них. Вспоминая полученные удовольствия, я снова их себе представляю, и я смеюсь над наказаниями, которые перенес и которых больше не чувствую. Частица Вселенной, я говорю в воздух, и я полагаю дать отчет о моем управлении, подобно тому, как дворецкий дает отчет своему господину, перед тем как исчезнуть. Что касается моего будущего, то, как философ, я никогда не желал беспокоиться об этом, потому что ничего об этом не знаю, и, как христианин, должен верить закону без рассуждений, и наилучшая защита – глубокое молчание. Я знаю, что существовал, и, будучи в этом уверен, я знаю также, что не буду существовать, когда перестану чувствовать. Если случится мне, после моей смерти, все же что-то чувствовать, я не усомнюсь более ни в чем, но уличу во лжи всех тех, кто скажет мне, что я мертв.

Мой рассказ, если начать его с самого удаленного факта, который удастся вспомнить, начнется в возрасте восьми лет и четырех месяцев. До этого времени, если правда, что *Vivere cogitare est*⁴, я не жил – я прозябал. Мысль человека, состоящая лишь в сравнениях, делающихся для рассмотрения отношений, не может предшествовать существованию его памяти. Орган, ей соответствующий, развился в моей голове только к восьми годам и четырем месяцам от рожде-

³ Говорю ли я, чтобы лишь позабавить, – решать слушателю. *Марциал*

⁴ Жить – это значит мыслить.

ния; к этому моменту моя душа начала воспринимать впечатления. Каким образом нематериальная субстанция, которой не может быть, существует, – ни один человек не в состоянии объяснить. Утешительная философия, в согласии с религией, утверждает, что взаимная зависимость души, чувств и органов является лишь случайной и мимолетной и что душа будет свободна и счастлива, когда смерть тела освободит ее от его тиранической власти. Это очень красиво, но, отвлекаясь от религии, это не безопасно. Поскольку нет возможности убедиться с полной достоверностью в том, что, после того, как перестаешь жить, становишься бессмертным, простите меня, если я не тороплюсь познать эту истину.

Знание, которое стоит жизни, стоит слишком дорого. Между тем, я люблю Бога, охраняющего меня от любого несправедного действия и ненавидящего несправедливых людей, при этом не причиняющего им зла. По мне, достаточно того, чтобы воздержаться делать им добро. Не следует кормить змей.

Прежде чем я скажу что-то о моем темпераменте и моем характере, пусть снисходительность моих читателей не будет лишена честности, ни, тем более, разума.

Я обладал всеми четырьмя темпераментами: флегматичным в моем детстве, сангвиническим в молодости, затем холерическим и, наконец, меланхолическим, который, очевидно, больше меня не оставит. Сообразуя питание со своей конституцией, я всегда пользовался хорошим здоровьем и, по-

нимая, что то, что его ухудшает, всегда происходит либо от избытка пищи, либо от воздержания, я не имел к другому врача кроме себя самого. Но я нашел, что воздержание гораздо более опасно. Излишество приводит к нарушению пищеварения, но излишнее воздержание – к смерти. Сегодня, будучи старым, несмотря на превосходное состояние моего пищеварения, я нуждаюсь в питании только раз в день; я компенсирую это сладким сном, и легкость, с которой я засыпаю среди бумаг, полных моих рассуждений, не нуждаясь ни в парадоксах, ни в хитроумных софизмах, наложенных на другие софизмы, не позволяет мне обманываться самому и обманывать своих читателей, потому что я никогда не смогу описать себя, предлагая им фальшивые деньги, если я знаю, что они фальшивые.

Сангвинический темперамент сделал меня очень чувствительным к прелестям наслаждений разного рода, радостей, готовым переходить от одного наслаждения к другому и изощренным в их изобретении. Отсюда моя склонность к заведению новых знакомств, так же как лёгкость в их разрыве, хотя всегда с сознанием причины и никогда не по легкомыслию. Дефекты темперамента неисправимы, потому что сам темперамент не зависит от наших усилий, но характер-это другое дело. Его образуют сердце и ум; и темперамент оказывает на него очень малое влияние, отсюда следует, что он зависит от воспитания и поддается коррекции и переделке. Я оставляю другим решить, хорош мой характер или плох, но

каков он – легко видно по моему лицу для любого знатока. Именно там характер человека проявляется как объект наблюдения, поскольку это его местоположение. Отметим, что люди, не имеющие физиономии, число которых очень велико, не имеют также и того, что называют характером. Поэтому разнообразие физиономий соответствует разнообразию характеров.

Признав, что всю мою жизнь я действовал более под влиянием чувства, чем размышлений, я нашел, что мое поведение в большей степени зависит от моего характера, чем от ума, после долгой войны между ними, в которой, в свою очередь, никогда не обнаруживалось ни достаточно разума для моего характера, ни достаточно характера для моего ума. Прервёмся на этом, потому что это случай, когда *si brevis esse volo obscurus fio*⁵. Полагаю, что, не нарушая скромности, могу присвоить себе эти слова моего дорогого Вергилия:

Nec sum adeo informis: nuper me in litore vidi
Cum placidum ventis staret mare⁶.

Посвящать своё время доставлению удовольствий для моих чувств было в жизни моим основным занятием; для меня никогда не было ничего более важного.

⁵ Желая быть кратким, становлюсь неясным.

⁶ Я не так уродлив, как то чудовище, что я видел на берегу, когда море было спокойным. *Вергилий, Эклоги*

Чувствуя себя рожденным для пола, противоположного моему, я всегда его любил, и я стремился всегда любить его, как только мог. Мне также нравился хороший стол, переезды и, страстным образом, всё, пробуждающее любопытство.

У меня были друзья, которые делали мне много добра, и я полагал себя счастливым, когда имел случай дать им знаки моей благодарности; и у меня бывали ужасные враги, которые преследовали меня, и я не уничтожал их лишь потому, что у меня не хватало для этого возможностей. Я бы никогда не простил их, если бы не забыл зло, что они мне сделали. Человек, который забывает оскорбление, не простил его, а забыл; прощение происходит от героического чувства благородного сердца и просвещенного ума, тогда как забвение исходит от слабости памяти или мягкой дружелюбной беззаботности миролюбивого ума, и часто от потребности сохранять спокойствие и мир, поскольку ненависть, в конечном итоге, убивает несчастных, которые поощряют её в себе. Будет неправильным называть меня чувствительным, потому что сила моих чувств никогда не отрывала меня от моих обязанностей, когда они предо мной стояли. По этой же причине мы никогда не должны называть Гомера пьяницей: *Laudibus arguitur vini vîtosus Homerus*⁷.

Мне нравились тонкие блюда: патэ из макарон, приготовленное хорошим неаполитанским поваром, ольяподрида, хо-

⁷ Лишь чести божественного поэта послужит то, что он слишком любил вино.
Из Горация

рошо разделанная треска из Нового Света, тушенная дичь под грибным соусом и сыры, совершенство которых проявляется, когда маленькие существа, населяющие их, начинают заявлять о себе видимым образом. Что касается женщины, то я всегда полагал, что это то, что мне нравится, и чем сильнее чувствую я её аромат, тем кажется она мне слаще.

Что за развращенный вкус! Как не стыдно признаваться в этом и не краснеть! – эта критика заставляет меня смеяться. Я достаточно дерзок, полагая, что благодаря моим грубым вкусам чувствую себя счастливее, чем другой, прежде всего потому, что, я уверен, мои вкусы делают меня более восприимчивым к удовольствиям. Счастливы те, кто, не причиняя никому вреда, может их добиться, и безумны другие, которые воображают, что Высшее Существо могло бы наслаждаться страданиями, наказаниями и воздержанием, которые ему предлагаются в жертву, и что ценятся только странные создания, которые к ним стремятся. Бог может требовать от своих созданий только осуществления добродетелей, которые он поместил зародышем в их душе, и он не дал нам ничего, кроме возможности сделаться счастливыми: самолюбие, желание похвалы, чувство соперничества, силу, мужество и власть, которой никакая тирания не может нас лишить: это власть убить себя, если, после расчета, справедливого или ошибочного, нам, к несчастью, вручают счет. Это самое сильное доказательство нашей нравственной свободы, о которой так спорит софистика. Однако, это, в конце кон-

цов, просто противно природе, и все религии должны это запрещать.

Ум, считая себя сильным, говорит, что я не могу считать себя философом и допускать откровение. Если мы в этом не сомневаемся в физике, почему бы нам не признать этого в отношении религии? Речь идет всего лишь о форме. Дух говорит с духом, и не в уши. Принципы всего, что мы знаем, могут быть выявлены только в том, что мы воспринимаем через большой и высший принцип, который содержит их все. Пчела, что лепит свой улей, ласточка, которая строит свое гнездо, муравей, который делает свою нору, и паук, что тклет свою паутину, никогда не сделают ничего без предварительного высшего откровения. Либо мы должны верить, что все именно так, либо признать, что материя думает. Почему нет, скажет Локк, если Бог этого захотел? Но мы не осмеливаемся оказать такую честь материи. Поэтому согласимся на откровение.

Великий философ, который, изучив природу, думал, что может петь победу познания Бога, умер слишком рано. Если бы он жил ещё некоторое время, он бы пошел гораздо дальше, и его поездка не была бы долгой. Находящийся в своем авторе, он был бы не в состоянии его отрицать: *teo movemur, et et sumus*⁸. Он нашел бы его непознаваемым, и его бы это не смутило. Бог, великий принцип всех принципов, который никогда не имеет принципа, мог ли он предста-

⁸ мы движемся и существуем в нем

вить себя сам, если бы ему пришлось разработать для этого собственный принцип? О блаженное неведение! Спиноза, добродетельный Спиноза, умер, не достигнув понимания. Он стал мертвым ученым, и право требовать возмещения за его добродетели полагается его бессмертной душе. Это неправда, что претензия на вознаграждение не свойственна истинной добродетели и наносит ущерб её чистоте, потому что, напротив, она используется для её поддержки, поскольку человек слишком слаб, чтобы желать добродетели лишь в угоду самому себе. Я полагаю сказочным персонажем этого Амфиарая, который *vir bonus esse quain videri malebat*⁹. Я полагаю, наконец, что в мире нет честного человека, не имеющего каких-либо притязаний, и я буду говорить о моих. Я претендую на дружбу, уважение и признание моих читателей. Также, после признания, – если чтение моих воспоминаний послужит им назиданием и доставит удовольствие. На их уважение, если они найдут у меня, по справедливости, больше достоинств, чем недостатков; и на их дружбу – привилегия, которой они удостоят меня заранее, на добросовестность, с которой я полагаю себя на их суд, без какой-либо маскировки. Они найдут, что я всегда любил истину так страстно, что частенько начинал с её искажения, чтобы внедрить её в головы, которым неведома её прелесть. Они не осудят меня, когда увидят меня опустошающим кошелёк своих друзей для удовлетворения моих капризов. Они вынашива-

⁹ желал лучше быть, чем казаться – из Эсхила

ли химерические проекты, и, внушая им надежду на успех, я в то же время надеялся вылечить их безумие с помощью разочарования. Я их обманывал, чтобы они поумнели, и я не считаю себя виновным, потому что действовать заставлял меня отнюдь не дух алчности. Я использовал для оплаты своих удовольствий суммы, предназначенные для обретения целей, которые природа сделала недостижимыми. Я считал бы себя виновным, если бы сегодня был богат. Я ничего не имею, я выбросил всё, и это меня утешает и меня оправдывает. Это были деньги, предназначенные на некие безумства, я обратил их в свою пользу, заставив служить моим.

Если в проявлении своих талантов к развлечениям я бывал неправ, признаю, что я бывал зол, но не настолько, чтобы теперь надо было каяться, написав об этом, потому что ничего из этого не делалось такого, что бы меня не забавляло. О, как жестока бывает скука! Только забывчивостью изобретателей адских мук можно объяснить, что они её туда не добавили.

Я признаю однако, что не могу защититься от страха быть освистанным. Вполне естественно, что я осмеливаюсь хвастаться тем, что я выше этого; и я далек от того, чтобы утешать себя надеждой, что, когда мои мемуары выйдут в свет, меня уже не будет. Я не могу избежать ужаса от некоторых обязательств, связанных со смертью, которую я ненавижу. Счастливая или несчастная, жизнь – это единственное сокровище, которым человек обладает, и те, кто её не любит,

не достойны её. Ей предпочитают честь, потому что бесчестье её позорит. Если альтернативой становится самоубийство, философия должна умолкнуть. О смерть! Жестокий закон природы, который разум должен осудить, поскольку этот закон направлен на разрушение. Цицерон говорит, что она освобождает нас от наказания. Этот великий философ записывает расходы и не учитывает доход. Не припомню, была ли мертва Туллиола, когда он писал свои Тускуланские беседы. Смерть это монстр, который охотится в большом спектакле за внимательным зрителем, готовя момент, когда пьеса, которая бесконечно его интересуется, вдруг кончается. Одной этой причины должно быть достаточно, чтобы её ненавидеть. В этих воспоминаниях вы не найдете все мои приключения. Я опустил те из них, которые не понравятся людям, принимавшим в них участие, поскольку они выглядят там плохо. Тем не менее, порой можно счесть меня слишком нескромным, и меня это огорчает. Если перед смертью я стану мудрее и если хватит времени, я все сожгу. Сейчас я на это не в силах. Те, кому будет казаться, что я слишком приукрашиваю подробности некоторых любовных приключений, будут неправы, по крайней мере, если найдут меня неплохим художником. Я прошу их простить меня, если моя старая душа сжалась до того, что в состоянии наслаждаться только в воспоминании. Добродетель перескочит через все картины, которые могут её встревожить, и я рад дать ей это уведомление в этом предисловии. Тем хуже для тех, кто это

не прочтет. Предисловие в книге, это как афиша в комедии. Надо его читать.

Я не пишу эти воспоминания для молодёжи, которая, чтобы гарантировать себя от падений, должна проводить юность в неведении; но для тех, кто, имея силу выжить, становится неподвластным обольщению, и тех, кто, оказавшись в силах пережить пламя, стал Саламандрой. Настоящие достоинства – это не что иное как привычки; я осмелюсь сказать, что истинно добродетельные – это счастливы, не испытывающие каких-либо огорчений при следовании добродетелям. Эти люди не имеют представления о нетерпимости. Это для них я писал. Я написал по-французски, а не по-итальянски, потому что французский язык более распространён, чем мой. Пуристы, находящие в моем стиле обороты, свойственные моей стране, будут справедливо меня критиковать, если эти обороты помешают им понять меня ясно. Греки находили приятным Теофраста, несмотря на его греческий, и римляне – Тита Ливия, несмотря на его провинциализмы. Если я интересен, я могу, мне кажется, рассчитывать на то же снисхождение. Вся Италия любит Альгароти, хотя его стиль пестрит галлицизмами. При том, стоит заметить, что между всеми живыми языками, которые имеются в республике литературы, французский – это единственный, которому её правители предписали не обогащаться за счет других, в то время как другие, более богатые, чем он, грабили его как в отношении слов, так и в отношении стиля,

прежде всего потому, что знали, что благодаря этим маленьким крахам они преукрасятся. Те, кто подчиняется этому закону, соглашаются однако с его убожеством. Они скажут, что при обладании всеми красотами, которые содержатся во французском, малейший след иностранного языка его обезобразит. Эта сентенция может быть заявлена как предупреждение. Вся нация, со времён Люлли, придерживалась того же мнения на свою музыку, пока Рамо не пришел, чтобы её разубедить. В настоящее время, под республиканским правительством, красноречивые ораторы и ученые литераторы уже убедили всю Европу, что они поднимут французский на столь высокий уровень красоты и силы, которых в мире до сих пор не достигал ни один другой язык. В кратком обзоре можно выделить сотню слов, удивительных своей мягкостью, своим величием или своей благородной гармонией. Можно ли изобрести, например, что-либо более красивое в языке, чем «ambulance» (*скорая помощь?*), «*Franciade*» (?), «*monarchien*» (*монархический*) «*sansculotisme*» (*санкюлотство*)?¹⁰. Да здравствует Республика! Тело без головы творит безумства.

Девиз, который я принял, оправдывает мои отступления и комментарии, которые я, пожалуй, делаю слишком часто при описании моих подвигов разного вида. По этой же причине я испытываю потребность услышать похвалы в хорошей компании.

¹⁰ Автор издевается над терминами революционноно времени – прим. перев.

Я бы охотно обернул гордую аксиому *Nemo auditur nisi a seipso*¹¹ если бы не боялся оскорбить огромное количество тех, кто во всех случаях, когда что-то идет не так, кричат – это не моя вина. Надо оставить им это слабое утешение, потому что без него они бы себя ненавидели, и в результате этой ненависти приходили бы к идее самоубийства. В том, что касается меня, признавая себя всегда главной причиной всех несчастий, которые произошли со мной, я наблюдаю себя с удовольствием, оставаясь учеником себя самого и испытывая обязанность любить своего учителя.

¹¹ Каждый творец своего несчастья

Глава I

История Жака Казановы де Сейнгальт, венецианца, написанная им самим в замке Дукс, Богемия.

*Nequicquam sapit qui sibi non sapit*¹²

В году 1428 дон Джакопо Казанова, родившийся в Сарагосе, столице Арагона, побочный сын дона Франческо, выкрал из монастыря донью Анну Палафокс в день, когда она уступила его желаниям. Он был секретарем короля дона Альфонсо. Он бежал с ней в Рим, где, после года в тюрьме, папа Мартин III, по рекомендации дона Жуана Казанова, магистра святого престола, дяди дона Джакопо, дал донне Анне освобождение от её обетов и благословение на брак. Все, произошедшие от этого брака, умерли в раннем возрасте, кроме дона Жуана, который женился в 1470 на Элеоноре Альбини, от которой имел сына по имени Марк-Антонио.

В 1481 году дон Жуан был вынужден покинуть Рим из-за убийства офицера короля Неаполя. Он бежал в Комо со своей женой и сыном, а затем отправился искать счастья. Он умер во время путешествия с Христофором Колумбом в 1493 году. Марк-Антонио стал хорошим поэтом, в духе Марциала, и был секретарем кардинала Помпео Колонна. Сатира

¹² не понимать личной выгоды – не понимать ничего

против Джулио Медичи, которую мы читаем среди его стихов, вынудила его покинуть Рим, он вернулся в Комо, где женился на Абондии Реццонико.

Этот Жюль де Медичи, став папой Климентом VI, простил его и вернул с женой в Рим, где, после взятия и разграбления города имперцами в 1526 году, он умер от чумы. В противном случае он бы умер от нищеты, поскольку солдаты Карла V забрали у него все, чем он владел. Пьер Валериан говорит достаточно об этом в своей книге *De inlicitatit litteratorum*.

Через три месяца после его смерти его вдова родила Жака Казанову, который умер в старости во Франции, в чине полковника армии Фарнезе, воевавшего против Генриха, короля Наварры, затем – Франции. Он оставил сына в Парме, который взял в жены Терезу Конти, от которой имел Жака, который женился в году 1680 на Анне Роли. Жак имел двух сыновей, из которых Ж. Батист, старший, уехал из Пармы в 1712 году и неизвестно, что с ним случилось. Младший Гаэтан Жозеф Жак оставил также свою семью в 1715 году в возрасте девятнадцати лет. Это все, что я нашел в капитулярии моего отца.

Из уст моей матери я узнал следующее: Гаэтан Жозеф Жак оставил свою семью, очарованный прелестями актрисы по имени Фраголетта, которая играла роли сублиметок. Влюбленный, не имея средств существования, он решился зарабатывать на жизнь собственной персоной. Он посвятил себя

танцу и, спустя пять лет, играл в комедии, отличаясь своими манерами даже больше, чем талантом.

То ли из-за непостоянства, то ли по мотивам ревности, он покинул Фраголетту и отправился в Венецию в труппе комедиантов, которые играли на сцене театра С. Самуил. Напротив дома, где он жил, был сапожник по имени Джером Фарусси с женой Марсией и Занеттой, их единственной дочерью, совершенной красоты, шестнадцати лет от роду. Молодой актер влюбился в эту девушку, смог воздействовать на её чувства и уговорить с ним бежать.

Будучи актером, он не мог надеяться на согласие ее матери Марсии и, тем более, отца Жеронимо, в котором актер подозревал ужасный характер. Молодые влюблённые с необходимыми документами и в сопровождении двух свидетелей предстали перед патриархом Венеции, который соединил их в браке. Марсия, мать девушки, разразилась воплями, а отец умер от горя. Я родился от этого брака по истечении девяти месяцев, 2 апреля года 1725.

В следующем году моя мать оставила меня на руках у своей, которая простила её, потребовав сначала, чтобы мой отец пообещал никогда не допускать ее на сцену. Это то обещание, которое все комедианты дают дочерям буржуа, с которыми вступают в брак, и которое они никогда не соблюдают, потому что те не очень заботятся о соблюдении этих слов. Моя мать была очень рада, что научилась играть в комедии, поскольку без этого, овдовев после девяти лет брака, с ше-

стью детьми, она не имела бы средств, чтобы их вырастить.

Мне был год, когда мой отец оставил меня в Венеции, чтобы ехать играть комедии в Лондоне. В этом великом городе моя мама в первый раз вышла на сцену и там родила в 1727 году моего брата Франсуа, известного художника-баталиста, который с 1783 года живет в Вене, занимаясь там своим ремеслом. Моя мать вернулась в Венецию со своим мужем в конце 1728 года, и, поскольку она стала актрисой, она продолжала ею быть. В 1730 году родился мой брат Жан, который умер в Дрездене в конце 1795 года, на службе у курфюрста, директором Академии живописи. В течение следующих трёх лет она родила двух дочерей, из которых одна умерла в младенчестве, а другая была замужем в Дрездене, где в этом, 1798 году, она еще живет. У меня был другой брат, родившийся после смерти отца, который стал священником и умер в Риме пятнадцать лет назад.

Вернёмся теперь к началу моего существования как мыслящего существа. Орган моей памяти стал действовать к началу августа 1733 года. Мне тогда было восемь лет и четыре месяца. Я ничего не помню, что случилось со мной до этого времени. Вот факт.

Я стоял в углу комнаты, наклонившись к стене, поддерживая голову и не спуская глаз с текущей обильно из моего носа на пол крови. Марсия, моя бабушка, у которой я был любимчик, пришла ко мне, вымыла мне лицо холодной водой и без ведома всего дома взяла с собой в гондолу и отвезла

на Мурано.

Это густонаселенный остров, отстоящий от Венеции в получасе. Выйдя из гондолы, мы входим в лачугу, где находим старуху, сидящую на убогой лежанке, держащую на руках черного кота, и пять или шесть других кошек вокруг неё. Две старые женщины завели длинную беседу, предметом которой был я. В конце своего диалога на фриульском диалекте ведьма, получив от моей бабушки серебряный дукат, открыла ящик, взяла меня на руки, положила туда и закрыла, велев мне не бояться. Это был бы способ как раз внушить мне страх, если бы я немного соображал, но я был ошеломлен. Я оставался спокоен, держа платок у носа, потому что кровотечение продолжалось, весьма равнодушный к грохоту, который слышался снаружи. Я слышал смех, плач, время от времени крики, пение и удары по ящику. Всё это было мне безразлично. Наконец, меня вытащили наружу, моя кровь утихла. Эта необыкновенная женщина, дав мне сотню поцелуев, раздела меня, положила на кровать, стала жечь снадобья, собирая дым в полотенце, пеленая меня в него, читая заклинания, после чего развернула меня и дала мне пять пилюль, очень приятных на вкус. Затем она тут же натирает мне виски и шею мазью со сладким запахом и одева-ет меня. Она сказала мне, что мои кровотечения будут постепенно уменьшаться, если я не расскажу никому, что она сделала, чтобы вылечить меня, и пообещала, наоборот, потерю всей крови и смерть, если осмелюсь кому-нибудь пове-

дать эти тайны. После этого наказа она поведала мне о милой даме, которая придет ко мне в гости на следующую ночь, что мое счастье зависит от того, смогу ли я никому не говорить об этом визите. Мы вышли и вернулись домой. Едва улегшись спать, я уснул, даже не помня о прекрасном визите, который мне должны были нанести; но, проснувшись через несколько часов, я увидел, или подумал, что увидел, спустившуюся из дымохода в большой корзине ослепительную женщину, окутанную в превосходную ткань, с надетой на голове короной, усыпанной драгоценными камнями, казалось, сверкающими огнем. Она подошла медленно, с величественным и добрым видом, и села на мою постель. Она достала из своего кармана маленькие коробки, которые приложила к моей голове, бормоча слова. Проведя со мной длинную беседу, из которой я ничего не понял, и поцеловав меня, она ушла туда, откуда пришла, и я заснул. На следующий день моя бабушка, прежде, чем подойти к моей кровати, чтобы меня одеть, велела мне молчать. Она предсказала мне смерть, если я осмелюсь повторить то, что должно было случиться со мной ночью. Это указание, данное женщиной, бывшей для меня абсолютным авторитетом, кому я привык подчиняться слепо во всем, было причиной, по которой я запомнил видение и, запечатлев его, поместил в самом укромном уголке моей детской памяти. Кроме того, я не чувствовал искушения передавать кому-то этот факт. Я не знал, кому бы это могло быть интересно, ни кому бы это можно бы-

ло рассказать. Моя болезнь делала меня хмурым и совсем не веселым; мне хотелось, чтобы все оставили меня в покое; я просто существовал. Мои отец и мать никогда со мной не говорили. После поездки на остров Мурано и ночного визита феи, у меня ещё бывали кровотечения, но все же меньше, и моя память постепенно развивалась; менее чем через месяц я научился читать. Смешно было бы отнести мое исцеление к этим двум странным происшествиям, но было бы также ошибкой сказать, что они не могли на него повлиять. Что касается появления прекрасной королевы, я всегда считал его сном, если только эта шарада не была специально проделана для меня; но средства лечения самых тяжких болезней не всегда находятся в аптеке. Каждый день какие-то феномены демонстрируют нам наше невежество. Я полагаю, что именно по этой причине нет ничего столь редкого, как ученый с умом, полностью свободным от предрассудков. В мире никогда не было волшебников, но их власть всегда существовала в отношении тех, кого они своим талантом смогли убедить в своём существовании. *Somnio, nocturnos, lémures, ponentaque Thessala rides*¹³

Многие вещи, которые ранее существовали только в воображении, становятся реальными, и, следовательно, некоторые эффекты, связанные с верой, могут не всегда быть чудесными. Они – для тех, кто придает вере безграничную власть.

¹³ Ты смеялся над ночными духами и фессалийскими чудовищами. *Неточная цитата из Горация*

Второй факт из тех, что я помню и о котором хочется сказать, произошел со мной через три месяца после поездки на Мурано, за шесть недель до смерти моего отца. Я скажу о нём читателю, чтобы дать представление о том, как развивался мой характер.

Однажды, где-то в середине ноября, я находился с братом Франсуа, моложе меня на два года, в комнате моего отца, осторожно рассматривая, как он работает в очках. Заметив на столе большой ограненный блестящий круглый кристалл, я был очарован, поднеся его к глазам и видя все объекты увеличенными. Видя, что на меня никто не смотрит, я улучил момент, чтобы положить его в карман. Три или четыре минуты спустя мой отец встал, чтобы взять кристалл и, не найдя его, говорит нам, что один из нас его, должно быть, забрал. Мой брат заверил его, что он ничего об этом не знает, и, будучи виновным, я, однако же, сказал то же самое. Он пригрозил нас разоблачить и обещал розог лжецу. Полагая, что будет обследован каждый уголок комнаты, я ловко положил кристалл в карман одежды моего брата. Мой отец, озабоченный нашими бесплодными поисками, нас обыскивает, находит кристалл в кармане невинного и налагает на него обещанное наказание. Три или четыре года спустя я имел глупость похвастаться брату, что проделал такую штуку. Он не простил меня за это и пользовался любой возможностью, чтобы мне отомстить. На общей исповеди, сообщив исповеднику об этом преступлении со всеми его обстоятельствами, я

обогатился эрудицией, доставившей мне удовольствие. Это был иезуит. Он сказал мне, что, зовясь Жаком, я подтвердил этим действием смысл своего имени, так как Иаков по древнееврейски означает Утеснитель. По этой причине Бог изменил имя бывшего патриарха Якова на имя Израиль, которое означает Видящий, поскольку тот обманул своего брата Исава. Через шесть недель после этого приключения моего отца сразил абсцесс от уха в голову, что за восемь дней свело его в могилу. Врач Замбелли, после того, как прописал пациенту закрепляющее снадобье, вознамерился исправить свою ошибку с помощью бобровой струи, от чего тот и умер в конвульсиях. Абсцесс прорвался через ухо через минуту после его смерти; врач удалился после убийства, как если бы не имел ничего с этим общего. Отец был в прекрасном возрасте тридцати шести лет. Он умер, оплакиваемый обществом, и, прежде всего, благородным сословием, которое воздавало ему похвалы как в отношении его поведения, так и его познаниям в механике. За два дня до смерти он захотел видеть всех нас около своей постели, в присутствии своей жены и господ Гримани, венецианских нобилей, призывая их быть нашими защитниками.

После того, как он дал нам свое благословение, он заставил нашу мать, заливавшуюся слезами, обещать ему, что она не направит никого из своих детей в театр, куда он бы сам никогда не пришел, если бы его не заставила несчастная страсть. Она поклялась ему в этом, и три патриция гаранти-

ровали ему нерушимость этой клятвы. Обстоятельства помогли ей исполнить свое обещание.

Моя мать, будучи на сносях на шестом месяце, была вынуждена играть в комедии вплоть до Пасхи. Молодая и красивая, она отказывала в своей руке всем претендентам. Не теряя мужества, она считала себя способной нас вырастить. Она полагала своим долгом позаботиться сначала обо мне, не столько из-за предпочтения, сколько из-за моей болезни, которая стала такова, что никто не знал, как со мной быть. Я был очень слаб, без аппетита, не в состоянии что-либо делать, выглядел бессмысленным тупицей. Врачи обсуждали между собою причину моей болезни. Он теряет, говорили они, по два фунта крови в неделю, а её не может быть больше шестнадцати – восемнадцати. Откуда же может происходить кроветворение в таком изобилии? Один из них говорил, что весь мой хилус¹⁴ стал кровью; другой заявил, что воздух, которым я дышу, с каждым вдохом должен увеличиваться в объеме в моих легких, и именно по этой причине я всегда держал рот открытым. Вот что узнал я через шесть лет от г-на Баффо, большого друга моего отца.

Он проконсультировался в Падуе с известным врачом Мако, который высказал свое мнение в письменном виде. Это письмо, которое я сохранил, говорит, что *наша кровь являет собой эластичную жидкость, которая может сжиматься и растягиваться в своей плотности, а никак не в количе-*

¹⁴ лимфа – лат.

стве, и что мои кровотечения могут простекать только из-за разжижения крови. Она разжижается естественным образом для облегчения циркуляции. Он сказал, что я был бы уже мертв, если бы природа, которая хочет жить, не помогла сама себе. Он пришел к выводу, что причина этого разжижения может быть найдена только в паре, которым я дышал, надо изменить его, или готовиться меня потерять. По его мнению, плотность моей крови была причиной тупости, что проявлялась на моем лице.

Г-н Баффо, высокий гений, поэт в самом похотливом из всех жанров, но великий и уникальный, стал человеком, благодаря которому решено было поместить меня в пансион в Падуе, и которому, соответственно, я обязан жизнью. Он умер двадцать лет спустя, последним из древней патрицианской семьи, но его стихи, хотя и грязные, сделают бессмертным его имя. Венецианские государственные инквизиторы своим духом благочестия внесли вклад в его славу. Преследуя его рукописные книги, они придали им цену: они должны были бы знать, что *spreta exolescunt*.¹⁵ Как только оракул профессора Мако был одобрен, аббат Гримани озаботился найти мне хороший пансион в Падуе, с помощью химика, своего знакомого, жившего в этом городе. Того звали Оттавиани и он был также антиквар. Через несколько дней пансион был найден, и 2 апреля 1734, в день, когда мне исполнилось девять лет, я был отправлен в Падую на барке «Бур-

¹⁵ То, что презирается, забывается с течением времени. *Тацит: Анналы, IV*

чиелло», по Бренте. Мы сели на барку за два часа до полуночи, после ужина. «Бурчиелло» представлял собой небольшой плавучий дом. В нём имелась зала, в которой были кабинеты с каждого конца, и жильё для служащих на носу и корме; длинная площадка на империале с застекленными окнами со ставнями; мы совершили маленькое путешествие за восемь часов. Сопровождали меня, кроме моей матери, аббат Гримани, и г-н Байо. Мать взяла меня спать с собой в зале, а два друга спали в кабинете. С началом дня она встала и открыла окно, которое было напротив кровати; лучи восходящего солнца били мне в лицо, заставив меня открыть глаза. Кровать была низкой. Я не мог видеть землю. Я видел через это окно только верхушки деревьев, растущих по краям реки. Барка движется, но движение такое плавное, что я не могу его заметить; то, что деревья быстро прячутся из глаз, вызывает мое удивление. Ах, дорогая моя мама, закричал я, что это такое? Деревья идут! В этот момент входят два сеньора и, увидев меня пораженного, спрашивают меня, что меня так заняло. Почему, сказал я им, деревья идут? Они стали смеяться; но моя мать, вздохнув, сказала мне жалостливым голосом: *это барка движется, а не деревья. Одевайся.* Я мгновенно понял причину явления, продвигаясь дальше со своим зарождающимся здравомыслием и вовсе не беспокоясь. Поэтому возможно, сказал я, что солнце тоже не движется, и что это мы движемся с Запада на Восток. Моя добрая мать восклицает, что это глупости, г-н Гримани со-

жалеет о моей тупости, и я остаюсь потрясенный, озабоченный, и готовый плакать. Тот, кто возвращает мне душу, это г-н Баффо. Он бросается ко мне, целует меня нежно, говоря: ты прав, мое дитя, Солнце не движется, будь смелее, всегда рассуждай о причинах и пусть они смеются. Моя мать спросила, не сошел ли он с ума, давая мне подобные уроки; но философ не только не отвечает ей, но продолжает втолковывать мне теорию, делая её чистой и простой для моего разума. Это было первое реальное удовольствие, которое я ощутил в моей жизни. Без г-на Байо этого раза было бы достаточно, чтобы ухудшить мою способность рассуждения: отсюда проистекло бы малодушие легковерия. Глупость двух других, безусловно, притупила у меня остроту восприятия, из-за чего я не знаю, пошел бы я дальше, но я знаю, что только этой способности я обязан всем счастьем, которым я наслаждаюсь, пребывая с самим собой.

Мы приехали рано в Падую к Оттавиани, чья жена осыпала меня ласками. Я увидел пятерых или шестерых детей, среди них дочь восьми лет по имени Мария и другую – семи лет, по имени Роза, прекрасную, как ангел. Мария десять лет спустя стала женой маклера Колонда; Роза через несколько лет стала женой патриция Пьетро Марчелло, который имел от нее сына и двух дочерей, одна из которых вышла замуж за г-на Пьера Мочениго, а другая – за знатного сеньора из семьи Корраро; этот брак был признан впоследствии недействительным. Иногда мне приходится говорить обо всех этих

людях. Оттавиани отвел нас сначала к дому, где я должен был остановиться в пансионе. Это было в пятидесяти шагах от его дома, близ Санта-Мария де Авансе, в приходе Святого Михаила, у старой славонки¹⁶, которая сдавала свой первый этаж мадам Мида, жене полковника славонцев. Ей открыли мою маленькую дорожную суму, представив реестр всего, что в ней содержится. После этого ей отсчитали шесть цехинов авансом, за шесть месяцев моего пансиона. Она должна была за эту небольшую сумму кормить меня, содержать в чистоте и учить меня в школе. Надо сказать, что этого было недостаточно. Меня поцеловали, мне было приказано быть всегда послушным её приказам, и меня там оставили. Так от меня избавились.

¹⁶ народность в Далмации.

Глава II

Моя бабушка приезжает, чтобы отдать меня в пансион доктора Гоцци. Моё первое нежное чувство.

Славонка сначала поднялась со мной на чердак, где показала мне мою постель, рядом стояли четыре других. Три из них принадлежали трем мальчикам моего возраста, они в тот момент были в школе, а четвертая – служанке, которая должна была заставлять нас молиться Богу и присматривать за нами, удерживая от обычных шалостей, присущих школьникам. После этого она спустилась со мной в сад, где, как она сказала, я могу гулять до обеда. Я не был ни счастливым, ни несчастным, я ничего не говорил, у меня не было ни опасения, ни надежды, ни капли любопытства, я не был ни весел, ни грустен. Единственное, что меня потрясло, была сама персона хозяйки. Хотя я не имел никаких представлений о красоте и уродстве, её лицо, её взгляд, тон и язык отталкивали меня: её мужские черты сбивали меня с толку всякий раз, когда я поднимал глаза на ее лицо, чтобы слушать то, что она мне говорила.

Она была высокого роста и крупная, как солдат, с лицом желтого цвета, черными волосами, бровями длинными и густыми. У нее было некоторое количество длинных волос на подбородке, уродливая наполовину открытая грудь, которая моталась, спускаясь до половины её толстой талии, и возраст

около пятидесяти лет. Служанка – крестьянская девушка, которая все делала по дому. Место, называемое садом, было квадратным участком размером тридцать на сорок шагов, единственным привлекательным качеством которого был зеленый цвет. Около полудня я увидел подходящих ко мне троих детей, которые, как будто мы старые знакомые, наговорили мне кучу вещей, предполагая во мне предубеждения, которых у меня не было. Я ничего им не отвечал, но это их не смутило: они заставили меня принимать участие в их невинных забавах. Надо было бегать, носить друг друга на плечах и кувыркаться. Я принимал участие во всём этом с достаточно большой благодарностью, пока нас не позвали обедать. Я сел за стол и, видя перед собой деревянную ложку, отодвинул её, спросив мой серебряный прибор, который я ценил как подарок от дорогой бабушки. Служанка сказала мне, что, поскольку хозяйка желает равенства, я должен пользоваться общими приборами. Это меня огорчило, но я покорился. Уяснив, что все должно быть поровну, я ел, как и другие, суп из миски, не жалуясь на скорость, с которой ели мои соседи, очень удивленный тем, что это допускалось. После очень плохого супа нам дали небольшую порцию сушеной трески и по одному яблоку, и обед на этом закончился. Был Великий пост. У нас не было ни стаканов, ни кружек, и мы все пили из одного глиняного бокала гнусный напиток под названием граспия. Он состоял из воды, в которой кипятили выжатые кисти винограда. В последующие дни я пил только

простую воду. Этот стол меня поразил, поскольку я не знал, позволено ли мне находить его плохим. После обеда служанка отвела меня в школу к молодому священнику по имени доктор Гоцци. Славонка договорилась платить ему сорок су в месяц, что составляет одиннадцатую часть цехина. Прежде всего, я должен был научиться читать. Поэтому меня посадили с детьми пятилетнего возраста, которые поначалу издевались надо мной. Ужин был еще хуже, чем обед. Я был удивлен, что мне не позволили на него пожаловаться. Я лежал в постели, где три весьма известных вида насекомых не дали мне сомкнуть глаз. Кроме того, крысы бегали по всему чердаку и прыгали на мою кровать, внушая страх, от которого у меня холодела кровь. Вот откуда я стал чувствовать несчастье и научился терпеливо переносить его. Однако, насекомые, что пожирали меня, уменьшали страх, который внушали мне крысы, а этот страх, в свою очередь, делал меня менее чувствительным к укусам. Моя душа выигрывала от борьбы моих недугов. Служанка же была глуха к моим крикам. При первом свете дня я вышел из этого гнезда паразитов. После того, как я пожаловался на казни, что пережил, я попросил у нее рубашку, поскольку пятна от укусов на той, что была у меня на теле, делали её отвратительной. Она ответила, что переодеваются только в воскресенье, и рассмеялась, когда я пригрозил пожаловаться хозяйке. Я заплакал в первый раз от горя и гнева, слыша издевательства моих сотоварищей. Они пребывали в тех же условия, но они привыкли. Это говорит

само за себя. Охваченный грустью, я провел все утро в школе, постоянно в полусне. Один из моих одноклассников рассказал о причине доктору, с целью сделать меня смешным.

Этот добрый священник, которого послало мне провидение, пожалел меня, заставил пойти с ним в кабинет, где, выслушав меня и увидев все, был потрясен видом волдырей, покрывавших мою невинную кожу. Он быстро взял свой плащ, отвел меня в мой пансион и продемонстрировал лестригонке состояние, в котором я находился. Притворившись удивленной, она свалила вину на служанку. Она была вынуждена удовлетворить любопытство, которое священник проявил к моей кровати, и я был не менее его удивлен, когда увидел грязь простыней, в которых провел ужасную ночь. Проклятая женщина, перекладывая во всем вину на служанку, заверила его, что она её прогонит, но служанка, возвратившись в этот момент и не желая перенести выговор, сказала ей в лицо, что это ее вина, раскрывая постели трех моих товарищей, грязь которых была равна моей. Хозяйка на это отвесила ей удар, на который та ответила более мощным, обратившим первую в бегство. После этого доктор ушел, оставив меня там и сказав ей, что не пустит меня в свою школу, пока она не сделает меня таким же чистым, как другие ученики. После чего я должен был вынести весьма сильный выговор, который она закончила, говоря мне, что в случае другого подобного беспокойства она выставит меня за дверь.

Я ничего не понимал, я только родился, я представлял се-

бе только дом, подобный тому, где я родился и вырос, где соблюдалась чистота и добропорядочность; я увидел грубость и ругань: мне казалось невозможным, чтобы меня в чем-то обвиняли. Она сунула мне в нос рубашку, и час спустя я увидел новую служанку, которая сменила простыни, и мы пообедали.

Мой учитель проявлял особое старание, чтобы обучить меня. Он посадил меня за свой собственный стол, где, чтобы убедить его, что я заслужил эту награду, я приложил все свои силы к учёбе. Через месяц я писал так хорошо, что он начал заниматься со мной грамматикой. Новая жизнь, которую я вел, голод, что заставлял меня страдать, и, прежде всего, воздух Падуи дали мне здоровье, о котором я понятия не имел раньше, но это же здоровье сделало для меня еще сильнее муки голода: он стал воистину собачьим. Я рос на глазах, я спал девять часов глубоким сном, который ничто не беспокоило, кроме видений, когда я видел себя сидящим за большим столом и старающимся насытить мой жестокий аппетит. Приятные мечты хуже, чем неприятные.

Бешеный голод, в конце концов, полностью бы меня истощил, если бы я не решился красть и поглощать все, что находил съедобного вокруг, когда был уверен, что никто не видит. Я съел в несколько дней пятьдесят копченых селёдок, лежавших в шкафу на кухне, куда я спускался ночью в темноте, и все колбасы, подвешенные к крышке дымохода на случай наводнений и во избежание несварения желудка,

и все яйца, которые я смог подобрать на заднем дворе, которые были только снесены и были еще тёплые; мой голод находил их превосходными. Я крал съестное даже на кухне доктора, моего учителя. Славонка, в отчаянии, что не в состоянии обнаружить воров, поставила сторожить дверь служанок. Несмотря на мои старания, возможность воровать не представлялась ежедневно, я был тощий как скелет, настоящий оловянный солдатик.

В четыре или пять месяцев мои успехи стали настолько быстрыми, что доктор назначил меня декурионом школы. Моей обязанностью было проверять уроки моих тридцати товарищей, исправлять их ошибки и сообщать о них мэтру с определением порицания или его применением, которого они заслуживали; но моя строгость не длилась долго. Ленивцы легко смогли найти секрет меня смягчить. Когда их латинский бывал выполнен с ошибками, они мне платили жареными котлетами, курами и часто давали мне денег; но я не удовлетворялся принятием от невежд контрибуции; жадность толкала меня стать тираном. Я лишал моего одобрения также тех, кто его заслужил, когда они претендовали освободить себя от контрибуции, которую я требовал. Не желая больше терпеть мою несправедливость, они обвинили меня перед мэтром, который, осудив за вымогательство, отправил меня в отставку. Но моя судьба уже должна была завершить свое жестокое испытание. Доктор, пригласив меня в один прекрасный день в свой кабинет, спросил, как я посмотрю на

то, чтобы он забрал меня из пансиона славонки и поселил к себе; увидев, что я пришел в восторг от этого предложения, он сделал мне копии трех писем, которые я послал одно аббату Гримани, другое моему другу г-ну Баффо и третье моей дорогой бабушке. Моя мать не была в это время в Венеции, а мой семестр кончился; нельзя было терять времени. В этих письмах я описывал все мои страдания, и объявлял о своей неминуемой смерти, если меня не заберут из рук славонки и не передадут моему директору школы, который был готов принять меня, но который хотел два цехина в месяц. Г-н Гримани, вместо того, чтобы ответить мне, приказал своему другу Оттавиани сделать мне выговор за то, что я дал себя уговорить, но г-н Баффо пошел поговорить с моей бабушкой, которая не умела писать, и написал мне, что через несколько дней я окажусь в более счастливом положении.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.